

Вадим
ФАДИН

ЧЕР
ТА





Вадим
ФАДИН

ЧЕРТА

Стихотворения

Тае Повересина —
последняя, что издано по ее
сборнику Черта.

С благодарностью — доброй
судьбе (можно так?) и духу.

Вад Фадин

Москва

Издательство «Прометей»

МГПИ им. В. И. Ленина

5 октября 2000.

ББК 84Р7-5

Ф 15

*Издание осуществлено
за счет средств автора*

Фадин В. И.

Черта. Стихи. М., Прометей, 1990, стр.

Ф $\frac{4702010202—}{183(2)—89}$ без объявл.

ISBN 5-7042-0299-3

© *Вадим Иванович Фадин, 1989*



* * *

Когда ты остановишься с разбега
и переждешь других суетный бег,
вдруг сложатся в пейзаж сугробы снега,
баркас на козлах, как модель ковчега
(а может статься, он и был — ковчег),

нагие ветви, вскинутые к небу,
глухие ставни, флюгер на ветру...
Не замечая то, что проще хлеба,
жизнь пробросаю веку на потребу,
да и пейзаж в конце концов сотру.



Чудак, занимающийся не своею душой, а моею,
увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею,
хотя может быть и печальней того и, что важно,
и вот мой совет: пусть посмотрит рисунки на левее,
и может увидеть охоту, костер и кончину мужчины,
и долгие страшные пляски по поводу этой кончины,
и самый процесс рисования, увлекший меня без
причины, —
вот если бы все эти камни сложить на рабочем столе!

И самый процесс рисования охоты, костра,
и, дальше, процесса... Как видно, отменное нужно
погребенья
к душе подбираясь чужой, опускаться ступень
терпенье,
и очень бояться («и самый процесс...»),
за ступенью
что смыкается круг.
Сомкнется — при виде с высот, а на самом-то
деле — едва ли,
с земли хорошо различимы витки бесподобной
спирали,
какой-то пружины, чьи кольца пространство
души распирали
и не позволяли повторов, и стали заметны не вдруг.

И зрителю надобно сладить с ее впечатляющей
силой —
не всякий к скале подойдет, неумелый, смущенный
и сирий,
ведь то, что так ясно казалось
уже разработанной жилой,

Все, летописцам светившие, в дым
превращаются свечи,
и безнадежно ветшают когда-то прекрасные вещи,
только в оружии старом, висящем на
праздничном месте,
не убывает еще благородный, как мужество, блеск.
Давние речи витают, но чудится в отзвуках блеф —
то ль устарел календарь, то ль былые понятия чести
мы принимаем с поправкой, неверием переболев.

Гости, возможно, не знают, зачем мне сокровищ
палата —
многие ль нынче назначат достойную цену булату?
Облаком дыма витают понятия честного боя —
помним, в легендах герои сражались один на один;
воображеньем себя и своих сыновей наградим —
надо б послушать, о чем говорят в наши дни
меж собою
единоборцы, случайно дожив до преклонных седин.

Отблеск огня на парадной стене говорит об отваге.
Странно, что общая смерть за столом зачата,
на бумаге:
много берет на себя наш за партией отточенный
разум.
Честь как давнишнее слово тайком покидает словарь.
В отблесках нового явственней видятся звезды,
январь.

Люди, что взглядом способны всю сушу
окидывать разом,
знают, что вовсе не вечен старинный земной
календарь.

Люди, что взглядом способны всю душу окидывать
разом,
немногословны и часто карают расспросы отказом,
ну а другие в гексаметр длинный и щедрый на слово
прячут и то, что нельзя разглядеть под
скорлупками душ,
и попадают в такую, как в сказках,
дремучую глушь,
что подивишься невольно абстрактной картине улова
(впрочем, при этом немислимо столбиком
вычислить куш):

тут и подруги портрет под прозрачной, как
в детстве, скорлупкой,
тут и неправда защиты, такой несерьезной и хрупкой,
и совпадение по времени в людном нечаянном месте,
и небывалая ревность, какой и не чаял в себе,
тут же и долгие мысли, рожденные в долгой ходьбе
рядом с прибоем, случайно смывающим редкие вести,
с пеной у рта на песке распростерты в
поздней мольбе —

чьи-то там души зывали, наверно, повинны
в крамоле? —
не возвращает секреты Балтийское черное море;
автор гексаметра может плести бесконечно
догадки —
мочи не хватит весь берег в раздумье пройти
до конца.
Эта почтовая чайка выводит на смену птиц
Так все и кружится в долгом, невидимом тотчас
порядке,
так и приходишь с прогулки с другими чертами лица.

* * *

Мне странно жить в осеннем городке
и счет вести цыплятам и удачам.
Я слышал, воздух призрачен? — Прозрачен!
И лист опал. Так славно, налегке,
стал взгляд скользить по обнаженным дачам

и открывать то башню, то фонарь,
смешные старомодные затей.
Мне кажется, сюда попал затем я,
чтоб все расставить, как сложилось встарь.
Пейзажи, правда, так меня задели,

что верю: воздух призрачен везде
и только ночью (тут пустеет рано)
фигуры пар преобразает странно,
подобно отражению в воде.
Наверно, так невиданные страны

живут всегда: в сугубой тишине,
в забавах, для меня безмерно малых.
Так было встарь: сидели чинно в залах
(один — строчил), гуляли при луне...
И тонет мысль в каких-то там началах.



Я не подстроил, просто вышло так,
что все свелось к явлению круглой даты;
затем и сторож мой попал впросак.
В пределах мест, достигнутых когда-то,
я рвался встретить собственную тень,
отброшенную в ноябре, день в день,
за четверть века до. И виновато
нашел на тени сор и дребедень.

Игра для взрослых — век направить вспять
(запретная как бы открылась зона);
свои следы так славно узнавать,
когда шаги печатать нет резона.
А в настоящем — грусть оконных рам,
и заколочен летний ресторан
в обозначенье мертвого сезона —
какой там нож с пылинкой дальних стран?

Не возраст же рождает эту грусть —
кому милы в пейзаже перемены? —
он — лишь урок, что помнишь наизусть,
он — только ток внутри осенней вены
и наша суть, увы, с недавних пор.
А ветер с моря разметает сор
и принесет, я знаю, непременно,
в обрывках звуков, давний приговор.

* * *

Морской пейзаж щадили катастрофы,
сто лет назад он точно был таков;
как мы, им любовался Гончаров
в своих прогулках до Майоренгофа
от Дуббельна. Сто разных пустяков,

придуманных, не искажают вида.
Благословен столетний перерыв.
Сюда спешат, всяк для себя открыв
любезное душе. Своя планида
у каждого, вернее, свой обрыв,

но что-то брезжит в воздухе такое,
что всем сродни, определяя круг —
совсем не дело добрых чых-то рук,
а паутинка, луч, момент покоя,
давнишний голос, долетевший вдруг.

Мы все, говорится, играем в каком-то огромном
спектакле:
и мир наш — театр, говорят, и расписаны роли,
не так ли?
Да только неровен состав, и иные до срока иссякли,
а может быть, проще причина, и плохо прочитана
роль:
мы в пьесе — никто — не читали прекрасного
первого акта,
как скромный трубач, задудевший с какого-то
нужного такта,
и кто-то, наверно, помчится за книгой во время
антракта,
да что там откроется наспех? — рассыпанных
буквок рой.

Поэтому прежде время всегда вспоминается
с грустью,
и тянет скорей из столицы в музейную
гладь захолустья,
по мере того, как кораблик, крутясь,
продвигается к устью,
лишает покоя догадка, что мы прозевали исток.
Не меряя скорость течения, внимаем догадкам
друг друга
и рады, что нет разногласий внутри сотворенного
круга;
лишь тем, кто на время отвлекся, придется
под занавес туго —
из скрытой нарочно ремарки проклюнется
спорный росток.

Поднимутся поздние споры о бросившем сорное семя:
зачем же расписаны роли? Актер, несогласный

со всеми,
отвлекся совсем не случайно на доброе старое время
и бедные вспомнил подмости в каком-нибудь
детском году.

Отрывки начального акта витают, как смутные духи,
плетут бесконечные сказки, отвлекшись от роли,
старухи.

К зиме заколочены дачи, и ставнями сдержаны слухи
о том, что случилось когда-то в ненужном
вишневом саду.

* * *

Как все, я назначаю веку цену
и — в ссоре с ним; поэтому на сцену
спешу, пока темно. Последний зритель
ушел в жилье, куранты бьют отбой.
Чтобы порассуждать с самим собой
о времени, не надобен учитель,
а слушателя завлекать — разбой.

Близ моря полдень был постыдно весел —
приду, когда ряды свободных кресел
солятся с ночью, в пене и в печали:
я в ссоре с тем, с кем был накоротке.
Люблю, когда свеча плывет в руке,
и теплые округлые печати
скрепляют протоколы на песке.

Ночь сновиденья пишет под копирку.
Открыта сцена — видно, отдан в стирку
тяжелый занавес с летящей чайкой.
Идет волна сочувствия, легка,
с галерки, из глубин, издалека —
отмерит срок ее строки случайной
того же века жесткая рука.

«... Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез».
Б. Пастернак

* * *

Напрасно томил режиссер понятых в
карантине —
ружье на стене не заряжено в первой картине,
а зритель, знакомый с игрой, ожидает развязки,
привычной за годы, — поди-ка его ублажи.
Мы тоже вторжение в души встречаем в ножи,
со школы запомнив секрет разбавления краски,
а если честнее — то слишком привыкли ко лжи,

Дается непросто гастрольная наша поездка:
забылся язык — и путевкой зовется повестка,
и только у зеркала правду расскажут морщины,
стесненные в кольца. Кольцо годовое не врет,
не скроет, каким выдавался загаданный год,
и если дурным, то какие известны причины.
А нам еще хочется что-то узнать наперед,

продолжить пока не сомкнувшееся полукружье:
раз в жизни стреляют и неснаряженные ружья
(пожалуй, одно это правило неоспоримо).
Вину бутафора докажет, конечно, допрос,
но дело в аншлаге; на правду — особенный
спрос,
как будто впервые актеры играют без грима,
без всякой подсказки предчувствуя гибель
всерьез.

* * *

Хочу взглядеться издали и сверху
в те годы, но ушли в бега они —
мы начинали в середине века.
Какой-то фильм торчит в пыли, как вежа,
и чайки умирают в гавани.

Но что за век у незнакомых чаек —
кино стареет, может быть, скорей.
Стареем мы — никто не замечает —
грузнеет быт, горит цветами чайник,
и любопытно: кто там, у дверей?

Стареет фильм, но помнятся оценки —
противников не допускаем в круг,
хотя уже не различить оттенки,
хотя суда сменяются у стенки
и чайки в порт слетаются не вдруг.

* * *

А все ж, сомнений нет, была волшебной флейта.
Жизнь без нее — скучнее и бедней,
слагается из неподвижных дней,
и кажется уже: весна и лето
на этот раз склонились перед ней.

Конечно, первыми о ней узнали дети:
бежали на ее прозрачный звук
мальчишки и вставали в тесный круг,
и забывали обо всем на свете.
Так в нашу жизнь искус приходит вдруг —

с портретом Моцарта, с задумчивым рассказом,
Идут часы, летит с деревьев пух,
я обращаюсь в неумный слух
(четыре чувства дремлют, с ними — разум),
и трудно выбрать одно из двух:

идти ль под музыку за дальние пределы,
остаться ли под речи взаперти?
А мальчикам обратно не прийти.
И вот уже аллея поредела,
приоткрывая дали на пути.

* * *

Запечатан в бутылке оторванный наспех листок.
Самому безразлично, к кому обратился с призывом
откровенным, сумбурным, где нет ничего между
кроме жажды какой-нибудь жизни. И гибельный срок
начинает идти с уносящим посылку отливом.

Там в короткой строке слышен вопль о спасении
кто возьмет на себя то, что смертным пока не
Даже тот, кто в другом, несомненно, удачлив и дюж,
здесь спасует, затем, что нельзя бесконечно все ту ж
изнурять, для него до сих пор безотказную, жилу.

Пропадут наши души. Спасателей — нет мастеров;
кто-то старей горазд, да ведь скажут, что дело
есть ли души — вопрос, а в судах повидали костров.
Если даже над тайной спасенья поднимут покров,
то и это не впрок сиротливой душе атеиста.

* * *

Трудно заметить, как время сжигает мосты;
книги стареют — желтеют под вечер листы,
краска становится неосязаемой пылью
и оттого не всегда узнаются слова:
то же, что как-то еще сохраняет молва
в воздухе нынешнем, вряд ли является
былью —
так и на память тихонько теряем права.

Правда, что рукопись не поддается огню —
хватит охотников нас изводить на корню;
в воздухе нашем слова не подвержены
тленью —
книги сгорают, а наша судьба непроста.
Память, по счастью, не остается чиста:
кем-то записана хроника богоявления,
кто-то взволнован нетронутым видом листа.

* * *

И в детстве, как нынче, мы были затеряны
в массе,
а все-таки встретились — в подготовительном
классе,
в котором еще не проходят законов природы,
мы все-таки встретились, двое, на школьном
дворе,
где сразу наскучили игры в царя на горе,
и вместе бежали к тому, что не видели сроду —
нам море уроки свободы дало в ноябре.

Вдвоем отделившись от мира, мы жили у моря,
уроков, увы, не касаясь в своем разговоре,
как будто дурного не значил звонок с перемены
и дети за партой ничуть не теряли лица,
как будто всего лишь спросонку напала ленца
и не было нужно других узнавать непременно:
все было началом, разгаром, огнем — без конца.

Могло показаться, что мы подготовлены к школе
и выбор дальнейший — в возможностях наших
и воле,
да вот о сближеньи нет речи у кромки прибора,
законы природы пока существуют без нас —
вмешаются хвори, случайные страсти и сглаз,
и взгляд посторонний заметит в судьбе перебон,
и каждый поступит в ему уготованный класс.



Учителю снится неверность ночных катакомб,
дневная дорога как будто исчезла в проране,
сюжет детектива мельчает на сером экране,
учитель в потемках с постели встает босиком
и шарит на полке фонарь, припасенный заране.

Учитель в рубашке идет напрямик через двор
(вприпрыжку, затем, что танцует, похоже, от печки),
сбиваясь с нечеткой тропинки, спускается к речке.
Разбуженный класс, почему-то сдержав разговор,
гуськом семенит, захватив по тонюсенькой свечке.

Неважной цепочкой по склону текут огоньки,
и даже газетчик лихой не обмолвился б: «лава».
А все же никто не спросил, что за путь — вдоль

реки;

идут среди ночи, прошедшему дню вопреки,
и верят учителю — значит, прошедшая слава

со школы начальной еще не забылась никем,
и так же неясен исполненный план сумасброда —
ему подчинился без веры бы лишь манекен,
а тут и Иуда нашелся; к тому ж, в тайнике
для черного дня есть заклатья особого рода.

Но старая вера до первого спора прочна,
потом расползется — не в моде добротные вещи;
учитель напрасно взывает, весомо и веще.
Как будто нарочно упрятана в тучи луна,
и старые карты учебника выглядят ветше,

чем если б в дороге дневной их разглядывал класс —
округа меняется, многое в книгах неверно.
Лишение славы должно узнаваться наверно —
иные предметы проходятся в школе сейчас.
Иные предметы подчас возникают из скверны.

Игру в поддавки неудобно назвать настоящей игрою,
как пьесою — пьесу, в которой нарочно не
сыщешь героя,
и если случалось ввязаться в такую затею, не скрою,
фортуна, скучая, в те дни изменяла во всем
остальном.
И это-то было удобно: сказать на измену — измена;
удача занудно верна лишь в ковбойском кино
супермену,
а в нашей размеренной жизни сдаешь рубежи
непреренно,
забыв о себе, сочиненном — безжалостном,
ловком, стальном.

Оправданность наших уступок — не лучшая тема
для спора,
бывало, игра начиналась, чтобы не обидеть
партнера —
свобода отказа не стоит, увы, ни полушки, коль скоро
обидно прелестен противник. Прощаешь ему и
корысть,
себе оставляя на долю лишь право начального хода
и право печального хода, да имя победного рода,
в былые года без уступок прошедшего пламя и воду.
А впрочем, измена — орешек, который не просто
разгрызть;

недаром в семейных преданьях находятся белые
пятна,
недаром иные легенды до нас толковались
превратно,

а черные дыры пробелов вбирали в себя
возможные в прошлом успехи в сражениях средней
и все повороты фортуны, и кухни старинной
Наивные наши вопросы на кухне иной подогреты,
а если есть спорное слово в классической пьесе,
догадка о том, что герои — такие ж, как мы, игроки.

и знать не дано назначенья ни им, ни, тем более, мне.
К чему расположены души, всегда остается
в секрете,
и новые темные люди сопутствуют мне на рассвете
и бродят у старого дома; их кто-то оттуда заметит —
тяжелые плотные шторы опустятся в каждом окне.

* * *

Забытые цветы скучнеют на столе,
забывшего цветы не отразить в стекле,
забытое перо не помнит о крыле,
забытые слова витают между нами,
и, в общем, все равно, когда придет ответ.
Девчонке невдомек, что ей несли букет,
а если нет потерь, то и печали нет,
а радости нет-нет да светят временами.

Забытые слова мельчают в пустоте,
и кто там — о любви? Нет смысла —
в суете...
Единственный букет — на мраморной плите;
его сюда принес неузнанный прохожий —
на Новый год затеплит язычок свечи,
попозже, по весне, преломит куличи...
Принесшего цветы попробуй, уличи:
с цветами или без
идем — и все похожи.

* * *

Мы это видели вдвоем —
как ветер гнал песок от моря
и тонкой стружкой время шло.
Каким-то образом в твоём
несправедливом приговоре
мое виновно ремесло.

Когда песочный календарь
иссякнет до последней точки,
сложу ненужный инструмент.
Тогда — вернись, стыди, удары!..
Весь календарь — и день отсрочки:
законный крохотный процент.



Наш разговор, быть может, даст плоды —
сейчас дай Бог наметиться побегам;
вести его — великие труды:
важна прямолинейность борозды —
шаг в сторону считается побегом.

Мы осторожно пробуем слова —
факт попадания можно выдать взглядом.
По тонкой нити ты идешь сперва,
затем в романе — новая глава...
И страшно видеть, что творится рядом.

* * *

Нам жить на Земле поспокойней могло быть,
чем где-то,
где в небо два солнца пустили из жадности к свету,
ведь мы наблюдали на физике: сблизив два шара,
учитель хотел, чтобы искра пробилась, змеясь,—
и, подозревая меж сферами тайную связь,
пугались учебной тревоги и молнии шалой
(случись то на улице, в небе — попадали бы в грязь).

Сближенье шаров очевидно чревато разрядом,
и страшно попасть одному в промежуток, раз рядом
накоплена сила в клубках чужеродных извилин,
которую не распознать в самомнении своем.
Тем более страшно попасть в промежуток — вдвоем,
когда ты подруге помочь, как ни бейся, бессилен,
и трудно поверить, что ты в этот раз ни при чем.

Бывает планета при свете вечернем убога,
но солнца второго никто не попросит у Бога:
любители света сегодня — увы — однолюбы,
и зря тяжелеют от силы чудесной шары.
Напрасно, двоясь, полыхают чужие миры
и трубы гремят на последнем вокзале, и трубы...
а мы на двоих обойдемся свечой, до поры.

Кому-то известно, как мне перейти беспримерное поле,
а следом и жизнь провести, не узнав,
ему и себе бы хотелось такой замечательной доли,
рецепт какой отстоялся за долгие пять тысяч лет;
в рецепте давнишнем примеров довольно, соблазн
и кто-то со мной не согласен в моем одиноком
с возможностью в жизни отваги и жертвы тем паче,
как будто задача живущих — стереть нежелательный след.

В расхожем рецепте я что-то о боли другого
конечно, талант сострадания дарован не всякому
и некто, прочтя «Восхождение» в громкой киношной афише,
решает, что здесь альпинистов нам, жителям,
Незнанию старых примеров под статью и свои
шутя, состязаются в поле всегда молодые повесы,
а если случаются срывы — лишь из-за трамвайного
и можно в постели спокойно дожидаться принятия мер.

Ну что же, каким-то страстям не беда разрешиться
да только художнику века сейчас неостанет постели,
он схватит резец или кисти и раны оплачет на теле

солдата, отдавшего душу за наш человеческий род,—
ему суждено восхождение. С ним двинутся вдовы,
пехота,
поэты, крестьяне, познавшие цену и крови, и пота.
...Святая тоска по Голгофе бродящего краем болота
такому не даст снисхожденья, других подгоняя
вперед.

Игрушка Люмьеров явила особенный кадр:
носильщик несет чемоданы — декабрь — дебаркадер
не меньше собора в Милане. Секрет мироздания
вот-вот будет выдан движением тени в стекле
(так тайна рассказа трепещет в листке на столе).
В потемках вокзала предвидится зал ожидания,
набитый людьми, проводящими время в тепле.

Все — ждут. Среди прочих заметны влюбленные пары:
одно из условий любви — нарастая по пара-
болическим правилам, быть без истории вовсе;
любовь не выносит оставленных в зеркале лиц.
И лучшее — ждать. И любовники падают ниц,
пальто подстелив. Время вязнет в искусственном
ворсе,
утратив надежду скользнуть на равнины страниц.

Все — ждут. Кто убог, кто обижен — ждут новых
пришествий,
и ждут понятия среди белого дня происшествий,
и ждут назначения пенсии взрослые люди,
другие — работы, какую бы славно начать,
и ждут сочинители — книгу подпишут в печать,
и дамы, боясь сквозняков, рассчитали, что будет
когда-нибудь время, в котором забудут печаль.

А мы — не пугаемся старости, те, кто снаружи,
поэтому — вдруг умираем, как птицы от стужи:
летели — и камнем. Расставят за нас запятые,
ведь кто-нибудь ждет, что стеклом изойдет потолок.
И если, бесформенный, брошен на площадь платок,
тогда вырастают заждавшиеся понятия,
пустив на мгновение в двери свободы глоток.

Из опыта знаем: в конечном итоге злодеи
уходят. Мы почести жертвам сполна воздаем,
своею судьбою как будто всецело владеем,
как если б, размыслив, в ином окончаньи
ладейном
над жизненным полем трудились с партнером
вдвоем.

Тогда на квартиры уходит былая пехота.
Посмертные списки текут на страницы газет,
там — много знакомых, там — маленькие
донкихоты,
пропавшие в свалке нелепой, неравной охоты.
Давно опоздали оркестры, цветы и глазет.

Тогда отвлекают презренные мелочи быта,
из них составляется невероятный коллаж,
плодятся идеи — рождаются трудности сбыта,
печалются музы. И вечно бывают забыты
обиженные Дон Кихотом, лелеявшим блажь.

Благие намеренья мастер дорожный скупает.
Один забияка калечит немало людей —
как тут далеко до неумных забав шалопая! —
его оправдает всего лишь легенда скупая.
А люди добры и прощают ему: не злодей...

Не ангел, конечно. Прощаем ущербного духом,
как будто со скорбною ношей не связан порок.
Злодеи уходят, но нам в наказание, по слухам,
останутся:
в выборе близких примеров проруха,
и свой городской сумасшедший, и новый пророк.



Что-то было похожее прежде, в теченьи веков
повторялось не раз — летописцы работали
даром,
потому что примером нельзя убедить чудаков —
им бы выдумать что-нибудь вроде очков,
а не то понесутся верхом на сраженье с
радаром.

Ветряные радары листают сквозные крыла,
их легко заподозрить в служеньи не нашему богу:
от волненья при встрече легко закусить удила...
Те ж — врасплох, врассыпную, в чем мать
родила —
не успеют ударить в железку, зовя на подмогу.

От земли оторвется затерянный в небе пилот,
не заметив распада невидимой в воздухе нити.
Тяжко помнить о тех, кто случайно попал в
переплет;
за виновных не бойтесь, наемный поэт воспоеет
их благие деянья. Но истину — глубже храните.

* * *

От громких слов до кропотливых дел —
банальный путь (счастливый ли удел?);
наивен, все ж, любой старинный титул,
который был — вершина и предел,
а стал всего лишь — невесомый стимул

(теперь лишь то граница и венец,
за чем возможны слава и свинец —
и вот куда стремимся без раскачек).
Кто прежде брал перо, тот был — певец,
сегодня должность выше, он — рассказчик,

свидетель наших необычных лет:
я без него свой потерю след
в каких-то бесконечных коридорах;
в их скуке слова не сорвется с лент
воспоминаний, взрывчатых, как порох.

Мне без него — блуждать среди людей,
внимать разноголосице идей,
любить театр (спешите на премьеру,
где в мой костюм оделся лицедей —
он одинок, по моему примеру);

да вот беда: играют только раз.
Не выживет — из уст в уста — рассказ:
что без меня рассказчик? В том и дело,
что все в сюжете связывает нас,
а титул служит линией раздела.

Все, чем богат, раздавай по капризу любому —
новые капли стучат по стеклу лобовому,
время идет все равно, объясняя, как проза,
тайную суть заскорузлых интриг на земле;
что-то еще остается в остывшей золе,
спутница тянется к югу, где теплится бронза,
вяло внимая речам о добре и о зле.

Время избранников метит, рисуя морщины;
можно придумать часы и другие машины,
но не обгонишь попутной с тобою минуты —
что для машины понятие зла и добра?
С бронзой и золотом юга роднились вчера —
кстати, сейчас они тоже полезны кому-то,—
но при возможности движемся в край серебра.

Ветер старается вещи сорвать с антресоли,
мчится пейзаж, диалог иссякает без соли
(правда, ее-то в избытке в серебряном море —
на берегу завершу свой рассказ о добре).
В эти края хорошо попадать в ноябре,
чтобы кристаллы сверкали острее в разговоре,
чтобы и руки остались потом в серебре.

как мелочь, ничтожная взгляду, влияла порой на судьбу:
иных пустяков доставало начать многолетние войны!..
Вот тут и расходятся люди — одни задувают невольню
свечу, а другие следят за сюжетом, прекрасно спокойны,
не зная, как тяжесть ответа удобно лежит на горбу.

Меняется странно
знакомый пейзаж за чертой карантина,
там рельсы нелепо окрашены охрой с добавкой
кармина;
бурьян и цветы между шпалами — редкая нынче
картина,
все меньше теперь остается дорог, что ведут в никуда,
печальных при самой пронзительной утренней
летней погоде.
Теперь созерцание и неподвижность как будто
не в моде,
дороги старинные путников дальше, чем прежде,
уводят —
гремят и блистают и в хмурую осень, сверля города,
сверлят и блистают в земле, где еще катастрофы
не знали
и люди пока не ушли из округи и верят едва ли,
что именно здесь декорации быта исчезнут в провале,
и гиблое место начнут поезда обходить стороной.
Меняется странно пейзаж за какой-то неясной чертою,
там рельсы заброшенной ветки желтеют с такой
быстрою,
как листья, ненужные дереву (помнить, однако же,
стоит,
что соки ствола продолжают в цистерне бродить
наливной).

Под деревом девушка может читать свою красную
книгу,
но ей не понять (заучив описание нужного мига)
того потрясения разума, скорого общего сдвига,
что в баллах по Рихтеру вряд ли светила оценят
при нас.

Какие слова прочитать, чтобы выскочить ночью
из дома,
ребенка схватив в одеяле и в небе не видя
фантома?..
Составы — в одном направлении сгнули, болью
ведомы.
Дорога покрылась цветами, каких и не видывал глаз.

Выжило много идей, до поры зашифрованных кодом,
много воды утекло по сравненью с тринадцатым
годом,
много машин поддалось постепенной в веках
дрессировке,
словно и впрямь золотая теперь наступила пора.
Только немного обидно за юное наше вчера,
если ж сказать о работе — машинам хватает
сноровки,
только уходят в легенды из завтрашних дней мастера.

Где-то еще рядом с нами остались профессионалы,
слышу из их отдаленья: «Уходим, простите, нас
мало», —
мало в толпе замечаю людей с золотыми руками,
и «мастерить» — стало редкостью слово из
прежних времен.
Можно б, смеясь, заподозрить нашествие диких
племен —
если б не горечь, простите, ведь те, что выросли
веками,
слово и честь пережили отрезок, что им отведен.

Это — предчувствие только; пока не получены вести,
где-то еще рядом с нами стареют хранители чести,
в узком кругу старомодное ценится честное слово —
код зашифрованных в давние годы высоких идей,
то, что терялось в просторах прекрасных пустых
площадей.
Надо идти в мастерскую, к своим однокашникам,
снова
вместе попробовать вспомнить секрет выживанья
людей.

Врасплох застал совсем уж странный сдвиг:
прибавилось с годами мертвых книг —
какой-то мор, неясные напасти —
боишься с ними быть лицом к лицу,
не веришь в них ни слову, ни концу,
и доктора, к тому ж, по этой части
не слишком смыслят — отошлют к писцу.

Еще не верю: что-то тут не так;
еще шучу: да был ли тайный знак?—
и сам беру фигуры на заметку,
уже не вижу тех, к кому привык,
подтягиваю под руку дневник...
Мне предлагают русскую рулетку,
которой место — вечер и тупик.

Забывчивым я объясню пример:
вам подают прекрасный револьвер,
в нем из семи — единственное слово,
способное убить; шесть гнезд — пусты.
Вращайте барабан (в глазах — кресты),
затем — к виску. И ждете ли простого
щелчка? или — мгновенно — темноты?

И сколько раз сходило на ура!
С годами безопаснее игра,
и, говорили, это всем на благо.
Что ж, на пустое впору дать заказ...
Недавно, правда, вспыхнул чей-то глаз,
зашелестела писчая бумага —
наверно, довоенный был запас.



Никак не умяляется тревога,
напротив.

И существованье Бога
не помогло б: уж коли в самом деле
он проглядел начало сих страстей —
узнал случайно, выйдя из гостей,
и все молчит — чего бы мы хотели?
Разгон до современных скоростей —

дитя всего лишь нашего каприза;
последствия — хождение по карнизу,
к тому — тревога. Всякой дребеденью
не заглушить готовый выпасть крик.
Что — через час, не знаем, через миг,
и опасеньям ищем подтвержденье
среди пророчеств антикварных книг.

Едва найдем — как бы собой довольны;
но там — про язву, мор, но там — про
войны!

Из даже незначительных ^{заме} ~~не~~ток
предупрежденья явствуют подряд.
Читатель, твой непостоянен взгляд,
но до сих пор, читай хоть так, хоть этак,
един вселенской мудрости заряд.

* * *

Не нужно бы стыдиться тех работ,
что сделаны незрелыми руками,
ведь ты не занимался пустяками,
а просто нынче стал совсем не тот.
И разве люди только стариками
достичь способны мастерских высот?

Ну да, тогда ты не хватал наград —
теперь от них как будто много толку!
Ты только на одну и ту же полку
не ставь работы всех себя подряд,
и погляди назад, хотя бы в щелку,
слетай послушать, что там говорят.

А там — прошел сезон, и все ушли,
и воздух стал особенно прозрачен,
и охраняют брошенные дачи
уют своей единственной земли.
И отзвук первой в юности удачи,
когда захочешь, чудится вдали.



Давно забыта суматошность лета,
вернется, нет ли — как-то все равно;
теперь — покой, а лишнее — отпето.
В огромном доме лишь мое окно
одно горит задолго до рассвета.

По совести, нечастая удача —
с самим собою быть наедине:
теперь и я хоть что-то в мире значу
и в этот раз дарованное мне
по пустякам, как прежде, не растрочу.

Заботит только быстротечность срока,
а значит, и конечный счет удач:
так часто время тратится без прока!
Вот и вчера я слышал женский плач
и был смущен наглядностью урока.

* * *

Иду за зеркалом в соседний магазин —
куплю такое, что лицо преувеличит,
в нем каждый штрих, пусть он совсем неотразим,
значение обретет. Ну что ж, вообразим,
что в зеркале предстанет сумма, а не вычет.

Там — сумма всех моих поступков за года
и помыслов, пока не воплощенных в деле, —
все мерно, день за днем, не медля никогда,
навек ложились, каждый — точно борозда,
на отражение, имея тьму в пределе.

Я с ними всеми был, хотя б в лицо, знаком,
а тут, уехав наспех на работу к морю,
оставил зеркало — живу, как под замком,
на ощупь бреюсь и в сердцах кляню закон
природы, помогавший этакому горю.

В трудах накопленного прошлого не жаль
одним глупцам, легко живущим без накала.
Нить бытия, на грех, закручена в спираль,
глядишь на свой же след, а постигаешь — даль,
и знаешь: было б скверно начинать сначала.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Здесь, кажется, нельзя читать с листа:
нагая суть последнего куста,
песчинки под ногами, каждый атом
узнаю тотчас, возвратясь к пенатам,—
а все-таки в знакомые места
опять вступаю с фотоаппаратом.

Вчерашних снимков — залежи в столе:
вид из окна, прекрасный блик в стекле,
соседний дом, перроны электрички,
опавших листьев ветхие странички,
кафе и берег — то в своей земле,
с чем связывают нежность и привычки.

На этот раз меняю объектив,
его на ту ж натуру обратив —
на те же дюны, станцию и дачи;
но тот же мир отображен иначе,
хотя вчерашний сохранен мотив.
Признаться, я боялся неудачи,

но дело в том, что стал тесней простор,
смягчились тени с некоторых пор,
придвинулись к ногам черта приборя
и горизонта чудо голубое,
**а главное, о чем весь разговор,
и люди стали ближе меж собою.**

* * *

За облака цеплялся
напрасный шпиль, остер,
а наклоны — он глянec бывлой содрал и с луж бы,
и подразумевался витраж — как бы костер,—
ведь был известен с детства пейзаж: река, костел
(сравнимый с обелиском, давно не знавший
службы).

Пусть утeкла сквозь годы без счeта пра-вода,
ушли иные люди, в высокое не веря,
мы с древними камнями прощались навсегда,
но тонкой струйкой правды — внезапно —
провода
возникли у костела и проползли под двери.

О времени, пространстве и о повадках муз
вступили в спор студенты осеннего семестра
(у паперти сбивался нечаянный союз),
и, сваливая с кровель молчанья давний груз,
просачивался в щели нездешний звук оркестра.

«Там — запись»,—
охлаждает туристов добрый гид,
а в воздухе витает концертных залов зависть.
И неизвестен зодчий, ничем не знаменит,
и музыка Вивальди всего не объяснит —
и чем-то после станет сегодняшняя завязь?



В старинных гравюрах не частый сюжет —
музыкант в интерьере;
 каких-то не стало портретов — **неведомы** наши
 потери...
 Сочувствовать, кажется, можно **непонятой** жизни
 Сальери:
 не самое скверное было — остаться в прекрасной
 тени;
 а хуже другое — **бывало**, сомненья ворочались
 глухо,
 работу ума не теснила **работа** изящного слуха,
 пусть точному знанию **формул** нет места в имени
 духа,
 с какой непонятной любовью их в этот предел ни
 тyani.

Теперь-то мы знаем наверно, как мало спасают
 любви,
 гораздо дороже бывает **весомое** действие любое
 и даже решение **формул**, на взгляд и на вкус
любовое,—
 вот если б из нот откровений легко было строить
 ряды!
 Куда ж со своею любовью деваться и с божией
искрой? —
 последнюю, **впрочем**, упрячут в какой-то **коробочке**
быстрой,
 и прежде, чем скажешь **умельцу**: — **Линейки** для
записи **выстрой**,—
 посыплются нотные знаки в предчувствии **близкой**
 беды.

Куда же при этом — с любовью? Давно не летают
амуры,
которым законное место в виньетке старинной
гравюры,
печатаем ноты, как должно, наверно, печатать
купюры,
и все-таки старая музыка где-то звучит вдалеке.
Ты алгебры новый учебник отложишь, жалея об этом,
придешь, наконец, — не ко мне, а как будто за
дельным советом;
я лампу зажгу и открою страницу со странным
портретом:
знакомая нам обстановка и Моцарт в седом парике.

* * *

А мы ведь знаем: что-то ускользает
(я не о том, что жизнь проходит мимо),
блеснет на миг в глазах — но не слеза, нет,
а большее... Наш день расписан, занят,
и спешка — вот напасть — неуголима,

и некогда приглядываться к бликам,
не верим в жемчуг в непотребной куче.
Когда же кто-то посветлеет ликом,
заговорив не так, как все, о близком,
торопим, чтобы повернул покруче,

в привычный круг. На этом повороте
и настигает смутная тревога;
предмет ее совсем еще немного —
и разглядишь, но что-то в нужном роде
опять ушло, и скажешь: слава Богу.



Минувшее, оно же где-то есть —
в соседней комнате, на улице, на даче,
и от него еще возможна весть:
бесследно не уходят неудачи,
добро не пропадает без отдачи,
а некогда потерянную честь
подымет кто-нибудь — нельзя ж иначе.

Не отвратить и завтрашнего дня:
подводят кадры, снятые на пленку,
что не боится тлена — ни огня,
ни сырости; показанным вдогонку
замечу: время рвется там, где тонко —
не перед прошлым. Объясню, повременя,
что слова «было» нет: «всегда» — и только.

И первая любовь не умерла,
живет с последней ближе, чем с сестрою.
В обеих женщинах (коль нет числа —
во всех) одна черта, в одном настрое,
была любима, видно, и не скрою,
что женщина была — одна. Дела
судьбы своей чудны порою.

* * *

Оргán воскресной соблазняет мессой,
а осень так прохожих распугала,
что якорем лежит у моря грусть.
Любимая летает стюардессой —
похоже, что на выставке Шагала
картины заучила наизусть.

В ее открытках нет нахальной фальши,
но были ведь пустые разговоры,
слова прощаний сведшие на нет.
Я у морской черты — куда уж дальше?
Становятся возможными повторы,
когда исчерпан полностью сюжет.

* * *

В светлой раме окна (полюбуюсь видом)
напоказ освещен мой языческий идол —
золотая сосна, невозможной рукою
извлеченная, вся, из куска целиком, —
талисман, что с собой нехватишь тайком;
я привязан к нему — он хранитель покоя,
он хранитель любви — и тебе незнаком.

По утрам он выходит ко мне из тумана.
Жаль, негоже делить пополам талисманы;
будем всяк при своем, раз не делятся доли —
так какой ты взяла бы на жизненный срок,
мне хотелось бы знать? Любопытство — порок,
и затем остается единственной в роли
золотая сосна с тихим морем у ног.

В раз навсегда заведенном порядке порою
взгляд, может быть, чересчур отвлекают игрою —
так и пребудет, пока не найдется героя,
чтобы на нем задержать разбежавшийся глаз —
чтобы в пустыне издал подобающий глас —
или ушел в неожиданном месте из строя,
скрылся из вида и впредь обходился без нас.

Впрочем, все то же нетрудно представить иначе:
чтоб отыгаться на нем за свои неудачи,
чтоб усадить за решение старой задачи...
Можно делить сбереженья, жильё или хлам —
тяжесть удвоишь, судьбу поделив пополам;
всю уступаю герою, умножишь, тем паче.
Так и теряйся, что лучше: ярмо или срам,

так — опасайся невидимой грани стриптиза,
так — балансируй на зыбкой полоске карниза,
в зеркало глядя, придумай свою Мону Лизу,
чтобы лукавство верней сохранить на века.
Было бы время, и если послушна рука,
то, чем богат, раздавай, не противься капризу —
лишь не подаришь восторга от черновика.

У моря другого, у теплого моря стараются греки,
чтоб всякий вошедший пустил свои корни в
кофейне навеки —
их с детства учили заваривать черный размолотый
порох,
а нам преподали когда-то, что дым не живет
без огня.
Нежданнне страсти на юге легко разгораются
в спорах,
и есть своя прелесть, наверно, в сражениях
вздорных и скорых,
но дым, загустевший в кофейне, туда не пускает
меня.

У здешнего ж моря течет по гостинице запах
лаванды,
пришедший на лодке никак не похож на туза
контрабанды,
ведь годы и версты прошли, и затеи — иные любимы;
лишь черного пороха бочка хранится в кафе
неспроста.
Пускай говорят, что в округе издревле живут
нелюдимы,
но пахнет не порохом осень, и, почты верней
голубиной,
влетают догадки о прошлом на светлую площадь
листа.

И я — завсегда у стойки, где варится кофе
без дыма,
и рушатся в мельнице зерна, как вещи черные
дыры:



Так и не встретимся, будешь стоять на пороге, чтобы биограф сочувствовал нам в эпилоге — наши дороги иссякли, не встретившись в точке, вот и глядишь на прохожих, считая года: каждый уходит из жизни твоей навсегда, вот и глядишь на часы, сочиняя отсрочки, вот и следишь, как течет вдоль дороги вода.

Можно, конечно, наивно идти на подлоги — знаю примеры — но навыков нет, и в итоге так и не встретимся. Много дверей в коридоре, не угадать, где стоишь, прислонясь к косяку. Столько невстреч происходит на нашем веку, что и с тобою, себя утешаю, — не горе. Горе — привычка потери сводить к пустяку.



Стремление к соразмерности — ошибка?
Несимметрична в зеркале улыбка,
бессмысленно подправленная гримом,
хотя и симметричны зеркала.
В любую даль взглядишь из-за угла —
и вот она во всем пространстве зримом
совсем не та, что до сих пор была.

Не жди от жизни чуда повторенья:
вмешается не Бог, так сила тренья —
сместит часы, и к месту давней встречи
та девушка сегодня не придет;
в любую даль гляди, за поворот —
просторы те ж, те времена далече.
Она и не узнала б: ты — не тот.



Таков удел: всю жизнь копать колодец.
А тем, кто сердцем слаб или — уродец,
к тому ж нетерпелив, урок не по плечу.
Другим не занимать старанье и отвагу,
к исходу дней неведомую влагу
добудут — воду, кровь или мочу,
а то, в насмешку, — мутненькую брагу.

И многие лелеют в душах смуту;
все — в прах, коль усомнишься на минуту.
Добра желают гости дорогие,
мол, не дойти до нужного пласта
и, знать — напрасный труд да нищета...
Быть иль не быть — пускай решат другие,
но нам решать — способность иль тщета.

Неузнанные, подаем узнаваемым тайные знаки,
в семье нет труда затеряться, тем более — в толпах
иных.

В горячих котлах открывается взгляду невнятная
накипь,
которая — клочья и пена, как нам объясняет словарь.
И пена, и клочья волнуются в вареве всякой столицы.
На стендах милиции — фото; почти одинаковы лица,
и можно теперь, перед зеркалом встав, лишний раз
удивиться,
что кто-то, устав от кипенья, в котором иссяк
календарь,
не вывел, что пена и клочья, и снимка отдельные
части,
и некто в твоём зазеркалье подобны хотя бы по
масти,
и тут же не кинулся город спасать от великой
напасти
затем, что впервые сложились в картину чужие
черты.

Ему невдомек, что для фото черты размывались
годами,
но серая накипь годится лишь в зимнюю ночь
для гаданья
и, снятая даже, осядет, не узнана, меж городами,
а снимки, не связаны с этим, до нужной дойдут
черноты.

Обидно, что с накипью можно смешаться в котле
постепенно,
теряться неузнанным в гуще — награда страшней,
чем измена:
тогда вся работа насмарку, и только лишь ключья
и пена
и при мировых катаклизмах пребудут у всех на виду.
Но славно, что можно, что просто остаться
неузнанным в гуще —
уже безо всякой помехи работать честнее и пуще,
пусть рядом певец и торговец сойдутся, мудрец
и непьющий,
а срок истечет, и найдутся итоги — представить суду.



Как место одно лишь годится для вещи в хорошей
квартире,
так, можно представить, и всякому существу в
видимом мире
назначены время и место, и кубок, под занавес,
в пире;
попытка вмешаться из зала, на взгляд драматурга,
смешна.
Но все ж декорации ставит фотограф, создатель
портрета,
клиента навеки связав с содержанием чужого
предмета,
а тот до какой-то поры снисходительно смотрит
на это —
такие, как сказано, нравы, такие пока времена.

Знакомых людей мы теперь представляем на фоне
пейзажа,
неведомых мест, где они не бывали ни разу и даже
не поняли толком картинки в пустом ателье, ведь
она же
была за спиною, как будто, и свет ослеплял
неспроста.
А им, присмотревшись к себе, станет важно увидеть
натуру —
и вот покупают билет и какую-то аппаратуру,
и щелкают споро затвором и меру презрев,
и цензуру,
и видят впервые на снимках вчерашней поездки
места.

Фотограф в провинции знает свое назначение туго:
вот житель в чужой бескозырке и сбоку, под ручку,
подруга,
другой — затерялся, счастливый, под тучными
пальмами юга —
но как им потом разобраться в пространствах его
ремесла?
Непросто теперь разобраться в пространстве и
времени нашем,
себя отделяя от фона, где мы размышляем и пашем,
нельзя же из прорези круглой увидеть, что задник
некрашен,
что поздно, что нового нужно теперь дожидаться
числа.



За час до отхода останется сушая пропасть
несделанных дел и никем не написанных писем,
а с ними — тоска по еще не облетанным высям
несчастливых любовей, и это банально и — пропись,
и этот непрожитый час наперед ненавистен

за то, что всего не успеть до удара курантов,
который отмерит отрезок от шпалы до шпалы;
лицо машиниста скрывается в облаке пара,
за час до отъезда решаются судьбы талантов,
врагов и влюбленных и даже венчаются пары.

За час до отхода сдвигают отставшие стрелки,
и нам невдомек — часовой изменяется пояс,
и стрелочник волен спастись побегом на полюс,
он будет оправдан, а мне — исправлять
недоделки;
и так никогда, никогда не отправится поезд.

* * *

Накалилась толпа, ожидавшая в воздухе спертом,
в нашей поздней игре отменили последний запрет:
изменяется все, вероятно — и правила спорта,
люди спешат на турниры, заполнены аэропорты,
и никто не берет для страховки обратный билет.

Так на зрелости лет обращаемся к древним
игроки суеверны, а память позора свежа,
стоит лишь возомнить, как она принесется с
примегами —
приветом.
Мы под богом одним притерпелись к судьбе, и при
этом
норовим устоять на отточенной кромке ножа.

Накалилась толпа, ожидая снижения правил;
обещанья свободы и те разжигают азарт —
а отставка судьи, что дворовой командой правил,
а обещанный приз в дорогой ювелирной оправе,
а другие посулы — неужто не путают карт?



Слово «вокруг» позабудется, может быть, скоро,
смысл потеряв в городской суете коридора,
где в измереньи единственном крепкие двери
множатся, словно в тревожном предутреннем сне;
вдоль пролетают события, ветры и снег,
а параллели встречаются только на сфере,
в точке полярной сбиваются вместе тесней.

Время растянуто вдоль, словно ткани основа.
Дверь затворив, у другой остановишься снова;
с кем-то иду параллельно, но в дальнем итоге
на чертеже коридора, хоть снова черти,
нет этой точки, где пересекутся пути.
Двери крепки — обивая напрасно пороги,
вдруг заподозришь: оглядка еще не в чести.

Жить в коридоре — на это не нужно отваги,
чтоб поддаваться печной недвусмысленной тяге;
чтобы вокруг оглядеться, не хватит таланта —
впрочем, никто не измерит при встрече талант:
каждый велик композитор и комедиант —
всяк для себя. А в округе, описанной Данте,
словом «вокруг» проводник начинает диктант.

Вернуться на берег, где дети пускают небесные змеи,
туда, где пространные речи вести сам с собою посмею
без риска прослыть сумасшедшим (но скучно

бывает без риска
и риск несомненный — прослыть эмигрантом в
приморском краю)?..

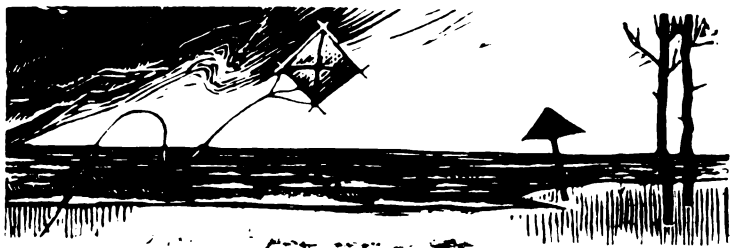
Готовясь к отъезду, просторные мысли помельче крою,
а прочие сборы излишни: до моря так просто, так
близко
доехать, лишь надо у кассы часок помаячить в строю.

Вернуться на берег?.. Я строю подробные дальние
планы,
как будто ко мне подступает бродяжье кусачее
пламя,
а дом — промолчу, потому что меня выживает из
дома
печальная зависть к приезжим, из коих любой
одинок.
...где дети пускают воздушные змеи? Там прежний
песок

уютно накрыла невинного снега немая истома,
а грешное море январь переделал в корявый каток.

Вести сам с собою посмею пространные вольные речи,
надеясь до истин дойти, подозрениям старым переча,
а дома приходится даже глагол обрывать на
приставке
и трудно сплести мало-мальски приличную связную
цепь;
в построенных планах сплетаются накрепко
средства и цель
толкает азарт в одинокой игре увеличивать ставки,
уже не боясь ожиданье удач отразить на лице.

Вернуться? Неплохо б приехать на море, как в
детстве, впервые.
Небесные змеи гуляли б с детьми, словно сторожевые
собаки; известия сверху стекали бы в руки по
нитям —
мы так до войны познавали высокого ветра слов.
Сегодня лелеем неверные воспоминанья свои,
по новым дорожкам навстречу бывшему песет по
наптыю,
и кстати — воздушные змеи и долгие речи сны.



СОДЕРЖАНИЕ

Когда ты остановившись с разбега...»	3
«Чудак, занимающийся не своею душой, а моею...»	4
«Все, летописцам светившие, в дым превращаются свечи...»	6
«Люди, что взглядом способны всю душу окидывать разом...»	7
«Край земли недалек от меня, он заметен везде...»	8
«Мне странно жить в осеннем городке...»	9
«Я не подстроил, просто вышло так...»	10
Осень на взморье	11
«Морской пейзаж шадил катастрофы...»	12
«Мы все, говорится, играем в каком-то огромном...»	13
«Как все, я назначаю веку цену...»	15
«Напрасно томил режиссер понятых в карантине...»	16
«Хочу взглядеться издали и сверху...»	17
«А все ж, сомнений нет, была волшебной флейта...»	18
«Запечатан в бутылку оторванный наспех листок...»	19
«Трудно заметить, как время сжигает мосты...»	20
«И в детстве, как нынче, мы были затеряны в массе...» . . .	21
«Учителю снится неверность ночных катакомб...»	23
«Игру в поддавки неудобно назвать настоящей игрою...» . .	24
«Забылись случайные люди, и новое время настало...» . . .	26

«Забутые цветы скучнеют на столе...»	28
«Мы это видели вдвоем...»	29
«Наш разговор, быть может, даст плоды...»	30
«Нам жить на Земле поспокойней могло быть...»	31
«Кому-то известно, как мне перейти беспримерное поле...»	32
«Игрушка Люмьеров явила особенный кадр...»	34
«Из опыта знаем: в конечном итоге злодеи...»	35
«Что-то было похожее прежде, в теченьи веков...»	36
«От громких слов до кропотливых дел...»	37
«Все, чем богаче, раздавай по капризу любому...»	38
«Чем дальше и глубже уходим, тем больше волнуют начала...»	39
«Меняется странно...»	41
«Выжило много идей, до поры зашифрованных кодом...»	43
«Врасплох застал совсем уж странный сдвиг...»	44
«Никак не умаляется тревога...»	45
«Не нужно бы стыдиться тех работ...»	46
«Давно забыта суматошность лета...»	47
«Иду за зеркалом в соседний магазин...»	48
Другой взгляд	49
«За облака цеплялся...»	50
«В старинных гравюрах не частый сюжет...»	52
«А мы ведь знаем — что-то ускользает...»	54
«Минувшее, оно же где-то есть...»	55
«Орган воскресной соблазняет мессой...»	56
«В светлой раме, окна...»	57
«В раз навсегда заведенном порядке порою...»	58
«У моря другого, у теплого моря стараются греки...»	59
«Так и не встретимся, будешь стоять на пороге...»	61
«Стремление к соразмерности — ошибка?»	62
«Таков удел: всю жизнь копать колодец...»	63

«Неузнанные, подаем узнаваемым тайные знаки...»	64
«Как место одно лишь годится для вещи в хорошей квартире...»	66
«За час до отхода останется сушая пропасть...»	68
«Накапилась толпа, ожидавшая в воздухе спертом...»	69
«Слово «вокруг» позабудется, может быть, скоро...»	70
«Вернуться на берег, где дети пускают небесные змеи...» .	71

Вадим Иванович Фадин

ЧЕРТА

Стихи

Редактор *С. А. Надеев*
Художественный редактор *Г. И. Максименков*
Художник *А. Н. Акимов*
Технический редактор *Е. Д. Захарова*
Корректор *Н. В. Рыбакова*

Подписано к печати 15.11.89. Л-48644.
Формат 70×108^{1/32}. Печать высокая.
Тираж 4000 экз. Цена 2 руб. 50 коп. Заказ 1570.

Издательство «Прометей» МГПИ им. В. И. Ленина
119048, Москва, ул. Усачева, 64

Типография ВДНХ СССР

